

СВОЛОЧЬ



Иван Мартынов

Сволочь

«Автор»

2026

Мартынов И. А.

Сволочь / И. А. Мартынов — «Автор», 2026

В уездном городе происходит дерзкое ограбление казначейства. Но народ не ищет воров и убийц — он плетёт сплетни и судачит о пропавших деньгах. В центре событий — ротмистр Чадский, человек с репутацией добряка, балагура и дамского угодника. В затрапезном городке С. Вас ждут грабители, скучающее офицерское общество, трактиры, дуэли, интриги, смерти, козы и одна, но очень важная, лошадь. Трагикомедия «Сволочь» повествует о самом смертоносном оружии в мире — о человеческом слове.

© Мартынов И. А., 2026

© Автор, 2026

Иван Мартынов

Сволочь

СВОЛОЧЬ

Уездная повесть

В уездном городе всё видно, да не всё разглядишь.

Иван Мартынов

Ограбление

Историю эту поведали мне в *** уезде, куда занесла меня как-то старушка-оказия, и хотя минуло с тех пор беспорядочно лет, помню её так ясно, будто дело было вчера. Личность, о которой пойдёт речь, поражает воображение до крайности, и вы, читатель, можете мне не поверить — дело ваше, только правды это не отменит, увы. История дикая. Я вас предупредил.

Начну повесть сию с ночи, когда всё и закрутилось.

* * *

Деньги в городском казначействе хранились немалые. Охрана: трое сторожей, отставные солдаты, при берданках — оружие не первой молодости, ещё alexandrovских времён, но для караула пригодное.

Двое дремлют, а третий, не под стать охранничьей рати, Кузьма, — на обходе, с фонарём. Шорох у заднего крыльца.

— Кто здесь?!

Ответ — удар прикладом. Кузьма рухнул. Фонарь вдребезги.

В караулке слышат шум, вскакивают, хватают ружья.

— Стой! Руки!

Выстрел. Второй. Третий. Дым, звон, крик — один из сторожей валится, зажимая простреленное плечо, второго роняют, вяжут обоих чем попало. Лиц воровских не разглядеть, маски нацепили, да не простые, а театральные! Мало того что упыри, так ещё и вона как куражатся, нарядились, устроили спектакль.

Сейф — ломом, наотмашь, ещё и ещё. Железный ящик, недолго думая, сдался. Мешки начали пухнуть от денег, как купеческая избранница апосля женитьбы.

Вдалеке бьёт колокол на пожарной каланче — отбивает двенадцатый час. Такие в городе порядки.

На мосту — Тимофей, с сыном. Они-то и стали первыми свидетелями того происшествия. Отец крепко схватил Васятку за плечи, пригнулся к самому его лицу:

— Беги. Слышишь меня? Зови городского, что есть духу беги, не оглядывайся!

Мальчик рванул было прочь, но обернулся всё же на бегу — и увидел, как отец уже шагнул наперерез трём бегущим теньям, растопырив руки, будто свинью хотел поймать, а не вооружённых людей.

— Стоять, ироды! А ну стойте, что творите!..

Тимофей рванулся вперёд, успел ухватить бегущего за рукав.

— А ну стой! Я те...

Договорить не дал выстрел.

Тимофей качнулся и осел у перил, сперва на колени, потом ничком, лицом в доски настила.

Васятка, скрывшийся за углом, услышал выстрел спиной, отца уже не было видно, но он догадывался, что могло произойти. Он не верил в это, но представил на мгновение. Стало

страшно, кулачки сжались, и слёзы полились ручьём из голубых глаз его. Услышал он и матерную брань одного из бандитов. Этот голос засядет в его голове навечно.

А тени бежали своей дорогой, не оглядываясь. К утру от всего этого «спектакля» в казначействе останутся взломанный сейф, кровь у порога, раненный в плечо сторож, двое связанных, всё ещё не пришедших толком в себя, — и путаные, друг другу противоречащие показания, из которых уряднику так и не удалось сложить ничего вразумительного. А ещё на руках у следствия был труп бородатого, в своём семейном быте скучноватого, бедноватого, а от того мало кому интересного, мещанина Тимофея.

Город скоро заговорит.

Через Д

Городок сей небольшой, если кто ещё не бывал в подобных, устроен был просто, хоть и не так убого, как порой воображают себе жители столиц, наслушавшись анекдотов про глушь да про избы: имелась и площадь с собором, и дом дворянского собрания с колоннами, немного, положим, облупленными, но всё же колоннами, и присутствие, где по вечерам подолгу горели окна — не столько от усердия чиновников, сколько от их же нежелания идти домой к сварливым жёнам, да орущим детям раньше срока. От площади разбегались улицы поменьше, застроенные то деревянными домами с резными наличниками, то каменными купеческими лабазами, то двухэтажными кирпичными хоромами, а весь этот нехитрый порядок обыватель знал наизусть, как знает собственную ладонь, отчего любая новость успевала облететь его из конца в конец быстрее, чем иной успевал допить утренний чай.

Наутро весь город гудел, как растревоженный улей, — и было отчего: деньги пропали не пустяковые, в том числе те самые, что откладывались на устройство новой больницы, и потому разговор об убитом свидетеле и разговор о пропавшей сумме шли теперь всюду рука об руку, как два родных брата, один горше другого. Обыватель провинциальный, впрочем, устроен так, что и горе умеет считать: Тимофея пожалели искренне, а деньги — тем пуще, потому что Тимофея было уже не вернуть, а деньги, чем чёрт не шутит, ещё можно было сыскать.

У колодца, куда бабы сходились за водой и за новостями в равной мере, в то утро было особеннолюдно. Кухарка одного из чиновников уверяла всех, что слышала выстрелы собственными ушами и даже будто бы разобрала голоса — не по-нашему говорили, а как будто бы по-польски, хотя откуда бы взяться полякам в *** уезде, объяснить не бралась. Дьячков сын божился, что видел, как от казначейства отъехала целая телега, гружённая мешками, и что правил ею человек в картузе, надвинутом до самых бровей, и картуз этот в его пересказе с каждым разом надвигался всё выше, а мешков к полудню набралось будто бы с два десятка.

— А наемдни мне ещё сон снился, — вмешалась тощая старуха, — будто ворона на крест села, три раза прокричала и улетела. К беде, значит.

— Ворона всегда к беде, только ты про этот сон уже третий год рассказываешь, всё к разным бедам подгоняешь!

— А хоть бы и так, — не смутилась она, — беды-то не переводятся, вот сон и годится всякий раз.

— Тебе всё шуточки, — вздохнула пухлая женщина в потрёпанном платке, — а деньги-то эти на больницу шли, будущей весной заложить обещали. Теперь, стало быть, жди ещё сколько. А то и никогда не будет зданьюшка нового!

— А в присутствии-то что говорят, не слышать? — спросила молодая девка, опуская в колодец ведро.

— А что присутствие. Присутствие бумаги пишет, только этим и живо!

— Может, ещё сыщут деньги-то, — подала голос та же молодуха с коромыслом.

— Как же, сыщут. Такие деньги, раз пропав, назад дороги не найдут, помяните моё слово!

Тут же вертелся и отставной писарь Клим Селивёрстович, человек, известный тем, что по любому поводу вспоминал какой-нибудь случай из собственной службы, всегда куда более значительный, чем то, о чём шла речь.

— Вот при мне, — начал он, важно оглядев собравшихся, — в году эдак восьмидесятом, у нас в присутствии пропажа была, да такая, что...

Договорить ему не дали — толпа уже потянулась дальше, к новым подробностям, оставив Клим Селивёрстовича договаривать историю самому себе, что он и сделал, ничуть не смутившись отсутствием слушателей.

Кто-то в толпе заметил вслух, что колокол на каланче бил в ту самую минуту, когда преступление в казначействе учинено было. Кто-то отшутился, что колоколу что час отбить, что беду — всё едино, звук один, разбираться недосуг.

Хоронили Тимофея на третий день. Осталась после него вдова с двумя погодками да Васятка. Весь город после этого долго ещё гладил мальчика по голове и совал пряники, герой, мол, чуть отца не спас, а он от этих пряников только ниже опускал глаза, будто виноват был, что не успел добежать вовремя.

На самих поминках, за скудным столом, разговор быстро соскользнул с покойного на то же самое, что занимало весь город с самого утра.

— Царствие небесное Тимофею Кузьмичу, — вздохнул кто-то, наливая рябиновку, — хороший был человек.

— Хороший, хороший, не поспоришь! — подхватили за столом.

— Денег-то, чай, много унесли. Больницы теперь не видать.

— Типун вам на язык, за столом-то поминальным про деньги...

— А что деньги. Я и говорю: и человека жалко, и денег жалко, отчего же порознь-то жалеть, можно ведь и вместе.

Разговор естественным образом перетёк в подсчёты — сколько всё же унесли, да когда теперь сызнава копить начнут, да доживут ли те, кому эта больница нужнее прочих, до нового сбора.

Урядник тем временем вёл дознание со всем усердием, на какое был способен, а способностей у него было, по совести говоря, не шибко. Опросил обоих связанных сторожей, из которых один клялся, что нападавших было трое, а другой — что десяток, причём оба клялись с одинаковой убеждённостью; допросил Кузьму, который пал первым и потому вовсе ничего не разглядел; съездил на мост, поглядел в канаву, поцокал языком, смерил шагами расстояние от перил до воды — зачем именно, и сам не смог бы объяснить, — и записал в протокол, что «злоумышленники скрылись в направлении неустановленном». На том дознание, по существу, и остановилось, а урядник, отдавая протокол своему подчинённому для переписки набело, утешал себя тем, что дело всё равно передадут в губернию, где уж, наверное, найдётся кто толковый, и разберётся, не зря ведь там жалованье больше платят.

И почти в каждом разговоре, у колодца ли, в лавках ли, рано или поздно всплывало одно и то же имя — не грабителя, нет, грабителей покамест никто в лицо не знал, — а имя человека, которого городок, не сговариваясь, назначил бы в подозреваемые ещё до всякого следствия.

Звали этого человека Аким Тихонович Сычов, и ремеслом своим, ростовщицеством, он занимался так, что от одного его имени у половины уезда портилось настроение. В городе был ещё один Аким, человечек неприметный и безобидный, но и его боялись и ненавидели. Имя было неисправимо осквернено. Деньги давал он весьма охотно, брал с процентом иногда непонятным по содержанию расписки, а отсрочек не давал никому. К нему всё равно шли, потому что нужда, известное дело, ждать не умеет, а получить деньги быстро и без долгих формальностей, без поручителей да без недельного ожидания решения, мог только тот, кто согласится и на дурной процент: у кого товар застрял в дороге, у кого недоимка горит, у кого дочь замуж выдавать не на что — вот и шли, стиснув зубы, зная заранее, чем это кончится. Впрочем,

на что-то каждый раз надеялись. Микрозайм порой нужен был не для микропроблем. Кому лекарство нужно, у кого дитяток в больнице. Каждый лишний день задержки долга оборачивался адским процентом.

Легенды про него ходили разные, одна другой чернее. Сказывали, будто одному должнику, просрочившему платёж, люди Сычова, а по другим рассказам сам Сычов, переломали молотком ноги, чтобы впредь неповадно было забывать календарь, и другим в назидание. Сказывали и другое: будто некоего плотника заставил Сыч при свидетелях глотать гвозди — по одному, покуда не расплатится хоть чем-нибудь, хоть слезами, хоть божбой.

А ещё прошёл слух и вовсе свежий, ещё не успевший обрасти подробностями, как прежнее: будто в ночь на пятницу видели у заднего двора Сычовской лавки странную возню: мешок туда заносили или, напротив, оттуда выносили, и кто-то, понизив голос до шёпота, добавил, что почудился ему из мешка стон, а может, и плач, и договаривать дальше не стал, только рукой махнул, и все, кто слышал, тоже смолчали, потому что додумывать такое вслух было боязно, впрочем и не додумывать никак — невозможно.

Три года как Сыч перестал здороваться первым не по гордости, а по расчёту: здоровающийся первым как будто немного должен собеседнику, а он никому не хотел быть должным.

— Уж этому бы в кассу лезть, а не честным вора́м, — заметил кто-то у продуктовой лавки, и по толпе прошёл смешок — невесёлый, но одобрительный.

— Типун вам на язык, — отозвалась старуха с коромыслом, — вор он вор и есть, а Сычов хоть в открытую грабит, с распиской да с печатью, комар носа не подточит. Ему такое дело чёрное зачем!

Тут стоит заметить, что и краденое в городе не миновало его лавки стороной: поговаривали, будто кое-что из мелкого скарба, пропадавшего у в меру или чересчур зажиточных жителей, находило у Сычова временное пристанище — за небольшую мзду и без лишних вопросов к тому, кто принёс.

К вечеру того же дня по улицам пронеслась весть о том, что вдове Тимофеевой решено собрать хоть небольшую сумму на похороны да на первое время, покуда не оправится и не подыщет какого ни на есть заработка. Ходили с шапкой по лавкам, и давали кто сколько мог, не скупясь особенно.

Заглянули с этим же делом и к Акиму Сычову. Он выслушал, не перебивая, покивал, погладил бороду жирными, испачканными в курице пальцами и прокряхтел, что человек он не богатый, дела его хуже, чем полагают, что деньги его все давно в оборот пущены и назад раньше срока не воротятся, а сам он, если уж разобраться по совести, ничуть не меньше прочих нуждается в сострадании, только сострадание это, известное дело, никто не спешит ему выказывать.

— Так что ж, ничего не дадите, Аким Тихонович? — переспросил один из сборщиков, не веря своим ушам.

— Отчего же, — отозвался торговец-ростовщик, — вот вам моё сочувствие, им и утешайтесь, оно у меня, по счастью, ещё не в дефиците.

Сборщики ушли ни с чем, а по дороге кто-то вспомнил, что прошлой зимой Сычов снял у одного мелкого чиновника за недоимку последнюю шинель прямо с плеч, а на дворе как раз стояли морозы, каких давно не помнили старожилы, и несчастный тот, вовсе не молодой уже человек, кутался после этого в один кафтан на рыбьем меху, потому что другой оде́жи справить было не на что, — и надсадно кашлял всю зиму, а к весне, говорят, и вовсе помер.

К обеду Аким Тихонович Сычов, как ни в чём не бывало, зашёл за хлебом в лавку на главной улице. Хлеб там же пекли, и пахло от того в лавке так, что даже сидящий на диете человек засматривался на витрину: тёплые, ещё дышащие печным жаром караваи лежали рядами, присыпанные мукой, рядом с ними отдыхали девки-плетёнки с маковой обсыпкой, ради которых бабы, особенно купеческие, специально давали крюк по дороге домой. На полочке повыше

расположился ситный — царь-батон, белый внутри словно бумага, с румяной корочкой. Такой берут простые люди лишь по большим праздникам.

— Вам как обычно, Аким Тихонович? Полкраюхи ржаного? — спросил лавочник, привычно не глядя в глаза.

— Полкраюхи, на большее денег нет, а то дерёте вы в лавках так, что не дай Бог! — подтвердил Сычов, и добавил, помедлив: — Да чтоб корка не подгорелая, как в прошлый раз.

Лавочник кивнул с той поспешностью, с какой кивают человеку, у которого лучше не переспрашивать дважды, отвесил хлеб с точностью до золотника и получил расчёт — ровно по счёту, копейка в копейку. Сыч кивнул сухо и вышел, а разговоры при его появлении не смолкли, но сделались тише и суше.

Сам он, впрочем, шёпот этот замечал не хуже прочих — да только виду не подавал, будто шёпот этот к нему не относится вовсе, а относится к какому-то другому, постороннему Сычову, о котором ему и дела нет. Мало ли чертей в мире его фамилию присвоило.

А дверью дальше в этот самый момент происходило вот что. Хотя, стоит сначала ввести вас в курс дела, пояснить о ком дальше пойдёт речь.

Жил в тех краях ротмистр, звали его Аполлон Севастьянович Чадский.

По роже его было решительно невозможно определить, то ли ему сорок, то ли все полсотни; впрочем, несмотря на взгляд, не обременённый лишними знаниями, называть его физиономию рожей мало у кого поднялась бы рука — всё-таки он носил пенсне, а потому в кругах малознакомых с ним людей сходил за человека умного, а умному, как известно, дарована привилегия иметь лицо, а не рожу.

Крепок он был ещё по-настоящему, хотя и успел заметно раздаться в тех местах, где сытная жизнь обычно оставляет свои зарубки; тёмные волосы его не тронула ни единая сединка, и это при том, что офицеры его лет седеют, как правило, в изобилии — и чаще не от войн, а от дуэлей да от игры в карты. Чадский же дуэлей избегал, и не по трусости, а по нежеланию портить своё прекрасное лицо и тело ради пустяка — он и сам говаривал в компании, неизвестно в шутку или нет, что противник может промахнуться, а вот бритва после такого дела уже не сможет пройти по щеке ровно, и лучше уж побережь его от шрамов; в карты играл расчётливо и почти без азарта, а потому и спал крепко, и сидел, соответственно, никак.

Усы его, густые и пышные, давно приобрели тот особый, желтоватый оттенок, какой бывает у заядлых курильщиков, — и оттенок этот, надо признать, шёл к его фамилии куда более, чем сама фамилия шла к его происхождению.

Одевался он всегда безукоризненно, даже щеголевато, — мундир сидел на нём ловчее, чем можно было бы ожидать при его комплекции, а сапоги блестели. Денщик его, по слухам, тратил на них времени больше, чем на всё прочее хозяйство вместе взятое, за что и получал от барина по праздникам двойные наградные, а по будням — двойную же порцию воркотни за малейшее пятнышко.

Служил он смолоду исправно, дослужился до ротмистра без особого блеска, но и без нареканий, и уже добрый десяток лет как осел в *** уезде, где чин его давно перестал кого-либо удивлять, зато привычки этого офицера успели сделаться местной достопримечательностью не меньшей, чем собор на площади.

Жил Чадский в доме не бедном и не роскошном — таком, какой и подобает ротмистру с приличным жалованьем да с кое-каким наследством, — а во дворе держал лошадь, не в полковой конюшне, а у себя, чтобы иметь возможность заглянуть к ней в любой час. По правде сказать, он бы с радостью держал её прямо у себя в спальне, да только та в дверной проём никак не проходила, и с этим печальным обстоятельством ему пришлось в конце концов смириться.

Утро своё начинал неизменно с кофею, который варил себе сам, никому не доверяя это дело, даже кухарке, хоть та и служила у него не первый год и по этому поводу немало недоумевала, полагая, что варить кофей — дело как раз кухаркино, а не барское. Кухня вообще

была его слабостью особого рода: соус, что не удался прислуге, он поправлял собственноручно, невзирая на мундир, а уж если готовил сам — созывал гостей, и те ели, не жалея похвал, признавая, что таких битков да такого пирога с визигой в уезде больше нигде не сыщешь. И это была отнюдь не пустая лесть.

По утрам его кухарка нередко выходила во двор звать ротмистра к столу — самовар, мол, стынет, — и заставляла неизменно одну и ту же картину: барин стоит подле лошади, что-то ей нащёптывает, поглаживая по храпу, и на оклик отзывается не сразу, будто не расслышал, хотя слышал он прекрасно, просто не находил в себе решимости прервать беседу с Бушенькой ради старого жалкого толстяка-самовара.

Однажды, ещё в турецкую кампанию, он отличился: под огнём не растерялся, вывел людей из-под удара, а когда всё кончилось, первым делом осведомился не о раненых, а о том, не пострадала ли его лошадь, — рассказчики неизменно прибавляли к этому месту снисходительный смешок, а самого Чадского это нисколько не задевало, лошадь его в тот день и вправду осталась цела.

О нём в городе говорили разное, но всё больше хорошее: обходителен, рад всякому гостю, лошадей любит без памяти, храбр — а один случай на охоте, когда он в одиночку с ножом в руках вышел на подранка-кабана, пока прочие мешкали с ружьями, только укрепил эту славу.

Приятели у него в городе водились в достаточном числе — по вечерам он захаживал в трактир на главной улице, заведение хоть и небольшое, но с давней и по-своему славной историей, о которой разговор особый и не здесь; там его встречали неизменным гулом одобрения, уступали лучшее место у печи и охотно слушали его истории, которые чертяка умел преподнести так, что даже самая пресная новость обрастала в его устах сочными подробностями, каких в ней прежде и не водилось.

В то утро Аполлон Севастьянович заглянул на почтово-телеграфную контору — отправить депешу по своим надобностям, — и остановился у окошка, в коем почтовый чиновник склонил уже покорно голову к бланку.

— Чацкий-с? Как в комедии-с?

Ротмистр медленно поднял топоры глаза, и водрузив их на плаху, прырычал:

— Через Д.

Чиновник моргнул, не вполне понимая, чем провинился, а Чадский повторил строже прежнего, и уже неизвестно зачем:

— Чадский. Через Д.

И засопел так, что впору было проветривать комнату — от накопившегося под потолком чада, а пенсне на переносице у него меж тем совсем запотело, будто и оно не стерпело этой путаницы.

Что произошло, чиновник, кажется, так толком и не понял, зато понял всякий, кто оказался поблизости и успел рассмотреть, как у ротмистра при этих словах слегка порозовели скулы, — верный знак, что человек этот, при всей своей внешней невозмутимости, вспыхивает куда легче, чем можно было бы подумать.

Вспышка улеглась так же быстро, как случилась. Аполлон Севастьянович кивнул чиновнику — в знак прощения, да и просто по привычке, — и вышел вон, оставив за собой некий запах, которому трудно было подобрать название иначе, чем тем же самым словом, от которого произошла его фамилия. Возможно, виной тому служил его особенный, гадкий для всех прочих, и близкий ему самому, табачок.

Город всё ещё гудел про Сычова, про Тимофея, про пропавшие деньги, а ротмистр шёл себе неторопливо, слегка кивая знакомым, приподнимая фуражку перед дамами постарше и удостаивая шуткой тех, что помоложе, отчего те заливались смехом куда охотнее, чем того заслуживала сама шутка.

У паперти сидел, по обыкновению, старик нищий — тот самый, о котором знающие люди вспоминали, рассказывая про Сычова, и который второй год кряду выпрашивал у него отсрочку по какому-то давнему, никому уже не понятному мелкому, но досадному долгу. Чадский не прошёл мимо: остановился, достал из кошелька монету, вложил в дрожащую ладонь и сказал что-то весёлое про погоду, отчего старик, привыкший к тому, что мимо него чаще всего проходят молча, расплылся в беззубой благодарной улыбке.

А Васятка, выплакавший всё что можно было, никак не мог отделаться от одной мысли: чей же это был голос — тот, что чертыхнулся после убийства, потому что голос этот, хоть убей, казался ему знакомым, а откуда знакомым, он взять в толк не мог, сколько ни морщил лоб, сколько ни гнул извилины над этой загадкой.

Городок же тем временем жил своей чередой, как жил всегда: горевал, конечно, по-своему, но не переставал при этом отапливать дома, уминать свежий хлеб и ходить в гости; над крышами к вечеру, как обычно, тянулся дым, а с пожарной каланчи всё так же исправно, час за часом, доносился один и тот же ровный, ничего не разбирающий звон — что для богатого, что для бедного, что для правого, что для виноватого, — и под этот самый звон, спокойный и безучастный, две половины города, разделённые речушкой и соединённые одним-единственным мостом, засыпали в свой черёд, каждая на своём берегу, думая, что их беда — она точно там, на другом берегу.

Крепость

Оборону крепости воины держали из последних сил.

Аполлон Чадский — в первых рядах, храбрец, какого не видывал ранее свет *** губернии. Третьи сутки шла осада, и защитники её, числом невелики, зато духом крепки на зависть иному гарнизону, чувствовали, как убывают припасы, а вместе с ними убывает и вера. Порох был на исходе. Хлеб — тем более. Всякий раз, когда казалось, что натиск вот-вот ослабнет, враг находил в себе новые силы для очередного приступа. Иные из гарнизонных молодых поговаривали, что пора бы сдаться; старики, напротив, стояли насмерть, повторяя, что для крепости их это позор, какого не смоешь потом ни водой, ни временем, ни даже кровью.

Комендант, обходя рубеж, вынужден был лично затыкать бреши, где падал то один защитник, то другой. Кто-то уже прощался с жизнью вслух, взывая к матери своей; кто-то, напротив, шёл в последний, отчаянный бой.

Соседние заставы сами находились не в лучшем положении и помочь ничем не могли. Осадные орудия неприятеля были под стать самой осаде — тяжёлые, испытанные временем, бывшие без промаха туда, где защитник слабее всего: в самое темя, в самое нутро, в самую волю к сопротивлению. Один из защитников, ещё бодрившийся четверть часа назад, рухнул вдруг ничком, головой на стол, и уже не подавал признаков сопротивления; товарищи его, впрочем, не побежали в панике, а лишь заботливо повернули павшего на бок, чтобы не захлебнулся, да продолжили оборону как ни в чём не бывало, ибо потери в этом гарнизоне случались едва ли не каждый вечер и давно никого не пугали. Комендант меж тем лично разносил подкрепление — по стакану на брата.

А вы, дорогой читатель, что подумали? Не иначе как вообразили себе редут, вал да неприятельскую конницу под стенами? Спешу разочаровать: никакой конницы под стенами не было и в помине, это вам не «Капитанская дочка», а «крепостью» окрестили заведение на главной улице люди военные, ещё в незапамятные, по местным меркам, времена; и хотя доподлинно теперь уже не установишь, чья именно голова первой изрекла это меткое словцо, добрые лстывые языки в один голос указывают на ротмистра Чадского, а сам он на все расспросы отделывается неопределённой усмешкой, ни подтверждая, ни опровергая своего авторства, что, впрочем, только укрепляет подозрение.

Осаждали же её действительно не впервой, трактирный гарнизон безропотно нёс службу и выжигал калёным железом трезвый уклад, почитая сего противника гораздо более страшной угрозой нежели османа. У простого же люда, не посвящённого в офицерские остроты, заведение это звалось попросту «у Демьяна» — по имени хозяина, — и оба названия уживались бок о бок в городе так мирно, что редко кто путался, о каком месте идёт речь.

Демьян Кузьмич, хозяин заведения, — тучный, вспыльчивый, но в глубине души человек справедливый. Справедливость эта выражалась главным образом в том, что он одинаково честно обсчитывал что богатого, что бедного, не делая различий по сословиям, — унаследовал дело от отца, а отец, в свою очередь, от деда, так что комендантом он мог зваться потомственным, о чём и напоминал всякому, кто пытался оспорить его цены или его же методы ведения хозяйства.

Заведение было не Бог весть какое роскошное, но и не тот солдатский кабак, куда стыдно завести приличного человека: полы чисто выметены, скатерти хоть и латанные, да свежие, а на стенах, вперемишку с пожелтевшими журнальными картинками, висел даже небольшой писанный маслом пейзаж, доставшийся, по слухам, в счёт долга от разорившегося помещика, и Демьян Кузьмич выдавал его гостям то за итальянский вид, то за Кубань, смотря по настроению и по учёности собеседника. Пахло здесь не столько кислыми щами, сколько наваристым мясным духом да свежемолотым кофеем, который для завсегдатаев из благородных заваривали по-особому, не жалея.

В дальнем углу, как повелось, резалась в карты компания мелких чиновников, истинные блохи чиновничьего мира. Компашка их — азартная не по ставкам, а по темпераменту, а ставки были такие, что проигравший рисковал самое большее остаться без чая на неделю, зато крику при этом было столько, будто на кону стояло целое имение. У печи дремал старик неопределённого звания, которого все звали просто дедом Финогеном и подле которого неизменно лежала облезлая дворняга, делившая с ним и тепло, и, по слухам, изрядную долю выпитого. Впрочем, весьма вероятно, что байка эта была сочинена самим дедом, дабы не обвиняли его лишний раз в чрезмерном пьянстве и подавали кружку полную до краёв, ведь просят не только ради себя, но и ради мохнатого друга.

Заходили сюда и уездный землемер, человек до крайности молчаливый, будто всю разговорчивость свою истратил на составление межевых планов, и вечно хмурый податной инспектор, которого, впрочем, никто не осуждал за хмурость — должность обязывала. Захаживал порой и учитель уездного училища, молодой человек с идеями, которые исправно излагал всякому, кто соглашался слушать дольше пяти минут, хотя таких смельчаков с каждым разом находилось всё меньше; а по большим праздникам забредал и самый благочинный, останавливаясь у порога ровно настолько, чтобы выпить одну рюмку за здоровье присутствующих и тут же удалиться, выполнив социальный долг.

В тот вечер, когда городок ещё не отгудел как следует про ограбление, Чадский, отобедав дома в одиночестве, вышел прогуляться, как делал это почти всякий вечер, покуда прогулка не приводила его, будто бы случайно, к тем же самым знакомым дверям.

По дороге он столкнулся с Терпигоревым. Ещё достаточно молодой и чересчур худой доктор вечно куда-то спешил.

— Александр Модестович, дорогой! Каким ветром?

— Аполлон Севастьянович... — доктор кивнул на ходу, не сбавляя шага, — простите, спешу, к Прасковье Егоровне вызвали, плоха совсем, боюсь, до утра не дотянет.

— Эх-х, — посочувствовал Чадский одним лишь вздохом, — а я вот, знаете, у Демьяна телячью отбивную заказать думаю, он её умеет так подать, что пальчики откусишь.

— Оближешь? — уточнил зачем-то Терпигорев, хотя сначала думал, что промолчит, ведь он был адски обескуражен реакцией собеседника на страдания пациента.

— Нет. Именно, что откусишь. Ладно, вынужден вас покинуть. Тороплюсь.

Да, именно так, без мягкого знака в конце, он произнёс это слово, а после оставил без внимания, как слово без смягчения, и самого доктора.

Тот чуть заметно свёл брови и заспешил дальше торопливой, чуть сутулой походкой человека, вечно недосыпающего и вечно спешащего туда, где он позарез нужен, а Чадский продолжил свой путь, находясь всё в том же благодушном состоянии, лишь мельком подумав, что доктор всё-таки худоват не в меру, надо бы при случае угостить его как следует.

«У Демьяна» в тот вечер былолюдно, как никогда, будто всему городу враз захотелось помусолить своими пытливыми язычками то ужасное ограбление именно под этой крышей. Может быть, виной тому были удобные стулья — чёрт его разберёт.

У стойки уже роился осиный кружок экспертов, кто почитал себя знатоками всякого происшествия ещё до того, как оно успевало толком произойти.

— А я вам так скажу, — начинал один, разгорячённый уже третьей кружкой, — не иначе как из наших кто-то навёл. Чужой человек в казначействе как разберётся?!

— А слышали, будто маски на них театральные были, да не простые? — вставил кто-то ещё.

— Театральные! Скажешь тоже. Откуда у грабителей театральные маски?

— А оттуда, что не абы кто это дело затеял, а с фасоном, с куражом деловитые столичные люди! Спектакль устроили, не иначе!

— Может, из бродячих артистов кто? Труппа же намеренно через город проезжала.

— Точно! Черти волосатые.

— Полосатые!

— Типун тебе на язык, артисты — люди тонкие, они бы прикладом бить в макушечку не стали. Они бы шпагу взяли, или ещё чего эдакое, знаешь, интересное!

— А по мне, так дело ясное, — вмешался ещё один, понизив голос до заговорщицкого шёпота, — свои это, местные, только вырядились под шибанутых, чтоб на приезжих подумали. У нас таких кретинов изроду не водилось!

— Да ну тебя с твоими театрами да заговорами, — отмахнулся кто-то, — грабители как грабители, обыкновенные, просто маски раздобыли где придётся, вот и весь сказ.

— «Где придётся» театральные маски не раздобудешь, милейший, это вещь особая.

— Слышь ты, да откуда тебе...

Спор этот грозил затянуться надолго, и неизвестно, к чему бы пришли спорщики, когда бы разговор не перекинулся, как оно обычно и бывает в таких местах, на что-то совершенно другое. Потекли рекой-Волгой разговоры широко да далеко, а о чём они были, то для нас основательно никакого значения не имеет.

За соседним столом расположился ротмистр Чадский уже без мундира, в партикулярном сюртуке, зато при неизменном пенсне, рядом с ним Фёдор Игнатьевич Конев, приятель его давний, служивший по интендантской части и лошадей, в отличие от Чадского, не жаловавший вовсе. Конев лошадей недолюбливал не из вредности, а из соображений сугубо практических: по долгу службы ему приходилось вести им счёт, и всякая лошадь в его глазах была прежде всего строкой в ведомости, а уж потом, если оставалось время, — животным.

— Аполлон Севастьянович, а слышали, сколько мешков-то унесли?! — воскликнул Конев, округлив глаза.

— Слыхал, Федя, слыхал, — отзывался Чадский, попутно уничтожая острыми челюстями безжалостно очередную закуску.

— А у нас в интендантстве за такую недостачу голову бы с плеч сняли, не посмотрели бы на чины. У меня вон копейка в копейку сходится, каждый сухарь на счету, а тут — цельное состояние, и никто ответить не может.

— Оттого тебя, Федя, начальство и держит, что у тебя копейка в копейку, — заметил Чадский без насмешки, а скорее со снисходительной похвалой. — Иной бы на твоём месте

давно бы что-нибудь да прикарманил, а ты вон седьмой год бумажкиводишь, ни полушки лишней. А жена на какие средства платье купит? Уйдёт стерва, помяни моё слово. Раз в годик и побаловать можно.

— Не в том дело, что не прикарманю, — обиделся вдруг Конев, — а в том, что не могу спать спокойно, коли хоть копейка не там лежит. У меня, Аполлон Севастьянович, весь мир вокруг счёта держится, вот вы смеётесь, а по мне так это самое надёжное, что в жизни есть, — цифра, она не соврёт, не то что человек.

— Ну-ну, — примирительно отозвался Чадский, — цифра, оно конечно, вещь надёжная. Только жизнь, Федя, к сожалению, не вся из цифр состоит, есть в ней и такое, чего не сосчитаешь. Говядину местную ты пробовал? Пока не попробуешь, рот не разевай.

— Вот тебе и раз, приход-расход, — вздохнул Конев, качая головой, — деньги-то немалые.

— Демьян Кузьмич, — окликнул тут Чадский хозяина, едва тот показался в поле зрения, — битки сегодняшние на чьём сале жарены?

— На гусином, ваше благородие, как вы и учили в прошлый раз.

— То-то, я гляжу, запах приличный. Неси, брат, да поживее.

Пров Провович Кислый, восседавший неподалёку, всё это время третьим ухом на затылке слушал досужие разговоры про краденые мешки с нарастающим неудовольствием, которое наконец прорвалось сквозь дамбу стеснения наружу:

— Мешки, мешки! Это лишь вершки! — воскликнул он тонким скрипучим фирменным своим голосом, всплеснув руками. — Только и разговоров, что про мешки, а тем временем ни слова, что квас Демьян третий день кислый подаёт, вот об чём говорить надо!

— Тебе бы, Пров Провович, только б поворчать, квас у него всегда такой был, — отозвался кто-то.

— Как это всегда! В прошлом месяце был приличный, а нынче — чистый уксус, хоть в салат заправляй! В салат для свиней! — его голос сорвался на писк. — Да не своих свиней, а соседских!

— Ты бы, Пров Провович, полегче, — вставил Демьян Кузьмич, проходя мимо с подносом, — квас как квас, вся улица хвалит.

— Вся улица, может, и хвалит, а у меня от него потом весь вечер изжога, — не унимался Кислый, — и вот ты мне скажи, Демьян Кузьмич, к чему мне заведение, где после кваса изжога, а после шей — тоска зелёная?

— Так не ходи, — резонно заметил кто-то.

— И не хожу! То есть хожу, конечно, а всё одно — не хожу, — запутался Кислый в собственной логике и махнул рукой, признавая поражение.

Кислому шёл пятый десяток, и седина у него взялась, кажется, разом и повсюду — не благородными прядями на висках, как это порой бывает, а сплошь, будто всю голову разом присыпало пеплом, так что рядом с гладким, тёмным, без единого седого волоска Чадским он смотрелся стариком, хотя разница в годах меж ними была не так уж и велика. Ротмистр же не позволял седине лезть к нему, рубил с плеча её костлявые ручонки, был вечно свеж и весел.

— А между тем, — наклонился Чадский к самому уху Конева, понизив голос так, чтобы слышал только приятель, — знаешь же ты, что есть у него три сестры, сестры Кислые, так вот говорят они и мужей своих кислыми щами кормят по три раза на дню, для профилактики характера.

Конев прыснул в кулак, стараясь не привлечь внимания, а Кислый, не расслышав, о чём шепчутся его товарищи, только подозрительно покосился в их сторону и продолжил лить из поганого ведра свою неустанную брань на квасок.

— Чего ржёте? — не утерпел Кислый, отставляя кружку. — Небось про меня опять что-нибудь?

— Что ты, Пров Провович, — успокоил его Чадский с самым серьёзным видом, — про квас твой рассуждали, до чего он нынче ужасен.

— Ужасен и есть, — тут же согласился Кислый, мгновенно позабыв о своих подозрениях, и вновь пустился в рассуждения о качестве напитка. Конев, отвернувшись, ещё долго не мог унять улыбку.

— А знаете, — вдруг сказал Кислый, посерьёзнев так же внезапно, как минуту назад кипятился из-за кваса, — я давеча в Никольской слободе был, по делу, — так там у вдовца Аграфёнова, что о прошлой седмице дом спалило, детей-то малых пятеро, живут покуда у соседей вповалку.

— Это не тот ли Аграфёнов, что к Сычову за отсрочкой ходил? — уточнил Фёдор, нахмурившись.

— Тот самый. Отказал ему Сыч-паскуда накануне того самого пожара, отказал наотрез, сказал, что должники у него не по счастливому случаю, а по расписанию платят, — а через день, гляди-ка, случайность вышла: дом-то и сгорел, дотла, ни угла не осталось. Может, оно и вправду случайность, да только больно уж вовремя эта случайность подгадала.

— А сам-то Аграфёнов что говорит?

— А что ему говорить. Молчит, детей по соседям пристраивает да глазами хлопает, как оглушённый. Ему бы сейчас впору не о причинах пожара думать, а о том, чем пол десятка ртов накормить.

— А много ли он у Сычова просил-то?

— Да пустяк, по нашим меркам — рублей полтора.

— Вот же ирод, прости Господи, — вырвалось из уст молодого светленького офицера, что сидел с ними за одним столом.

— Кто, Аграфёнов? — не понял тучный штабс-капитан, вернувшийся в разгар диалога из уборной.

— При чём тут Аграфёнов, — рассердился Кислый, — я про другого говорю, что вы меня все путаете! Это караул!

Все примолкли на минуту, и даже Кислый, только что скрипевший про квас, теперь смотрел в кружку хмуро, без всякого своего обычного раздражения, будто про квас он и вправду только для порядка ворчал, и теперь молча извинялся перед пенной жидкостью.

— Экая жалость, — заметил Чадский, со вздохом, в котором сострадания было куда меньше, чем сожаления, — только я вам вот что скажу: жизнь вообще она как говядина — сегодня свежая, а завтра, глядь, протухла, и поминай как звали, хоть плачь над ней, хоть нет.

— Мудрёно как-то у вас выходит, Аполлон Севастьянович, — заметил Конев, качая головой, — то жизнь у вас говядина, то ещё что.

— А чего мудрить, Федя. Всё просто, как в лавке: что свежо — то в дело, что протухло — то на выброс, а сентиментальничать над тем и другим — только время терять попусту.

— А над человеком-то как же, тоже — что протухло, то на выброс?

— Над человеком, — Чадский пожал плечами, — я разве что сказал такое? Ты уж не путай, Федя, одно с другим, а то договоримся до чего не следует.

Сравнение это, надобно признать, не всякому за столом пришлось по вкусу после только что рассказанной печальной истории, и Кислый, всё ещё хмурый, покосился на ротмистра так, будто хотел что-то возразить, да не нашёл слов, а после махнул рукой и уткнулся опять в свою многострадальную кружечку, решив, видно, что философствовать с Чадским о морали — дело настолько же гиблое, как требовать у Демьяна Кузьмича извинений за квас.

Надо сказать, спорить никто не взялся, потому что опровергать философию за выпивкой — дело хлопотное и по большей части бесполезное.

От карточного стола в углу долетали до любопытных ушек обрывки чужого разговора — там как раз кто-то, не отрываясь от прикупа, громко предположил, что грабители, может

статься, ещё в городе и преспокойно сидят себе где-нибудь неподалёку, попивая на ворованные деньги, от чего один из игроков так и подскочил на месте, выронив карты, и с полминуты озирался по сторонам с таким видом, будто грабитель мог прятаться прямо у него под столом.

— Экое ты, братец, скажешь, — только и выговорил он, отдышавшись и заново собирая рассыпавшиеся по полу карты, — а прочие игроки покатались со смеху, да так, что дед Финоген у печи проснулся и, не разобрав спросонья, в чём дело, тоже засмеялся за компанию, хотя и не знал над чем.

— А ты б поменьше пугался да побольше в карты глядел, — отмерил ему землемер, впервые за весь вечер обронивший больше двух слов подряд, — а то опять продаешь все деньжищи, как наемни, а твоя супружница мне потом скажет, что я эдакий гад, и по башке даст сковородой.

— Намедни у меня карта не шла, а сегодня, глядишь, и отыграюсь.

— Не отыграется, — уверенно предрёк податной инспектор, не отрываясь от своих картишек, и оказался, надобно сказать, совершенно прав, хотя узнали об этом чуть погодя.

— А я вам вот что скажу, — подал голос ещё один завсегдатай, дотоле молчавший, — на днях зашёл я в лавку к Сычову — по делу, не по своей охоте, поверьте, — гляжу, а на полке у него ложка серебряная стоит, точь-в-точь как у моей покойной тёщи была, ещё с вензелем.

— Та самая, что пропала?!

— А кто ж его знает.

— Ты бы, чем языком трепать, взял да отобрал, коли твоя ложка, — посоветовал кто-то силным голосом.

— Так у Сычова же не отберёшь, у него на всякую вещь бумажка найдётся, что куплена честь по чести, ты хоть всей управой на него ступай — выйдешь ни с чем, да ещё и должен ему останешься за беспокойство.

— А ты бы её всё же выкупил, коли признал, — посоветовал ещё кто-то, — раз уж память о тёще дорога.

— Выкупил! Он же за неё цену заломит такую, что дешевле новую заказать у ювелира, да ещё с гербом, да из золота, да ещё и с вилочкой впридачу!

— В том-то и весь Сыч, — подытожил кто-то со вздохом, и на этом разговор о ложечке иссяк сам собой, уступив место новым, столь же зыбким подробностям ограбления казначейства.

Так и текла тёплой речушкой беседа — то про грабителей, то про жаркое, то про жён — покуда за окном не стемнело окончательно, и Демьян Кузьмич, обходя зал в очередной раз, не подбодрил защитников крепости новой порцией того самого напитка, ради которого гарнизон этот держался уже который год, не сдаваясь ни трезвости, ни здравому смыслу.

Чадский с Коневым засиделись дольше прочих и разошлись уже за полночь.

— Ты б всё-таки лошадь свою поберёг, — заметил на прощание Конев, поднимаясь из-за стола, — не ровен час, надорвётся от твоей любви.

— От любви, Федя, ещё никто не надрывался. Надрываются от нелюбви, а это, брат, ты уж мне поверь, куда как хуже.

С тем и расстались — Конев отправился к себе, ворча что-то про его интендантские расчёты, которые завтра поутру придётся сводить, а Аполлон Севастьянович зашагал домой не спеша, слегка пошатываясь, но не от хмеля, а скорее от сытого расположения духа.

Улицы к тому часу совсем опустели, только собака где-то полаяла для порядка да ставень скрипнул в чьём-то доме, а с каланчи, как раз когда он проходил мимо, донёсся очередной удар — час пробило, ровный, спокойный, ничем не отличимый от иного.

Дома Чадского, как всегда, встретила Бушенька коротким, приветственным фырканьем из-за загородки, и он, прежде чем отправиться спать, непременно заглянул к ней, потрепал по холке, сказал что-то ласковое и лишь после этого, вполне довольный прожитым днём, поднялся

к себе, ничуть не подозревая, что городок, в котором он так уютно прижился, совсем скоро увидит кое-что такое, чего не пожелал бы я никому.

Заговор

Пока город ещё досматривал свои последние сны, Терпигорев спускался с крыльца дома Прасковьи Егоровны — тем нетвёрдым, спотыкающимся шагом, каким ходят люди, не смыкавшие глаз всю ночь и уже сомневающиеся, стоят ли они вообще на земле или им это только кажется. Ночь выдалась тяжёлая: под утро жар отступил, дыхание старухи выровнялось, и она, к собственному изумлению не меньше, чем к изумлению доктора, потребовала себе морсу да принялась ворчать на племянницу за плохо взбитую подушку — верный знак, что жить будет, вопреки всем вчерашним опасениям.

Александр Модестович потёр переносицу — жест, въевшийся в него, словно ржавчина в старый топор, — велел племяннице не отходить от постели до самого его возвращения и, уже на пороге, машинально проверил в саквояже, всё ли на месте, хотя делал это же самое уже дважды и знал заранее, что найдёт всё в том же порядке. Порядок этот, впрочем, был едва ли не единственным, что оставалось при нём неизменным: сюртук измялся, воротничок пожелтел от пота и бессонницы, а руки, только что державшие чужую жизнь на весу, дрожали теперь мелкой, почти незаметной дрожью — усталостью, не страхом. Он шёл той улицей, что вела мимо дома Чадского. Ставни там ещё стояли закрытые, и доктор подумал мельком, без всякой зависти, что ротмистру, должно быть, снятся сны спокойные, не в пример его собственным. Спать ему оставалось часа четыре, не больше, а после снова к больным, потому что болезни, в отличие от людей, отпусков себе не устраивают.

Часом позже, когда солнце поднялось уже настолько, что грело, а не просто светило, ставни в доме Чадского наконец отворились. Утро выдалось из тех, какие человек простой назовёт просто погожим, а человек с претензией на слог — «утром, будто нарочно вылепленным для безделья»: не жарко, не сыро, воздух чист, и только за сараем чёрные курочки переговаривались о своём курином, будто и у них там имелся собственный трактир «Зёрнышко» да свои сплетни про ограбление какого-нибудь курятника.

Аполлон Севастьянович, поставив недопитый кофе на перила крыльца, вышел во двор в исподнем да в халате, наброшенном кое-как, — роскошь, которую он позволял себе исключительно по утрам, покуда куры да Бушенька оставались единственными свидетелями его неприбранного вида. Подле поленницы лежало бревно — то самое, что третий год дожидалось топора и всё никак не могло дожидаться, самому же ему заразе не хотелось расколоться, вот жеж ленивая деревяшка. Оно за эти годы тут обжилось, и служило теперь скорее скамьёй, несмотря на то что официального приказа на бумаге по этому поводу не значилось. На эту скамью ротмистр и опустился, шурясь на солнце, когда во двор, поскрипывая новыми, ещё не разношенными сапогами, вошёл молодой поручик — из тех, что заглядывают будто по делу, а на самом деле за компанией и, чего уж скрывать, за свежей сплетней.

— Аполлон Севастьянович, доброго утречка! Не откажете в минутке?

— Отчего ж отказать, — Чадский подвинулся на бревне, освобождая место, — садись, коли пришёл, всё одно вижу — не с пустыми руками ты, с языком чешущимся.

Поручик присел, повертел в руках фуражку и, помявшись для приличия сколько положено, выложил наконец всё как на духу:

— Штабс-ротмистр Дробышев, служивший в соседнем эскадроне, вчера вызвал на дуэль некоего помещика за неосторожное слово о его сестре, а нынче поутру от вызова отказался, сославшись на подагру, которой у него отродясь не бывало. Каков, а?! — поручик даже привстал от возмущения. — Честь фамильную защищать кинулся, а как до дела дошло — подагра у него! У молодого человека, заметьте, подагра!

Чадский слушал, покачивая ногой в шлёпанце, и на лице его читалось то особое, смакующее внимание, с каким иные слушают не столько содержание сплетни, сколько музыку собственного будущего суждения о ней.

— Ну что тебе сказать, братец, — произнёс он наконец, сняв пенсне и протирая запотевшие линзы полый халата, отчего сощуренные глаза его сделались вдруг по-детски беззащитными, — люди вообще делятся на два сорта: одни готовы за честь голову положить, а другие только языком плясать горазды, покуда дело не дойдёт до кулака или до пистолета. Дробышев твой, стало быть, из вторых. Такой человек — он как несвежая говядина: с виду будто бы ничего, а поднеси поближе — сразу разит.

— Вот и я говорю! — обрадовался поручик поддержке.

— А ты сам-то, — прищурился вдруг Чадский, водружая пенсне обратно на переносицу, — вызвал бы кого на дуэль, случись оскорбить кто твою сестрицу?

Поручик на миг замялся, соображая, что вопрос этот отчего-то из простого сделался неудобным, но, не найдя, куда деваться, всё же выдал:

— Вызвал бы, само собой.

— Ну вот и славно, — Чадский хлопнул его по колену со всей дури, — тогда и осуждай себе на здоровье, тебе можно. А мне, брат, недосуг чужие подагры разбирать, у меня своих дел по горло.

Поручик, впрочем, не заметил в этих словах ничего, кроме одобрения, откланялся довольный и зашагал прочь — разносить дальше по гарнизону мнение ротмистра, которое уже через час обрастёт подробностями настолько, что и сам Чадский его не узнает.

И обрастать оно начало, надо сказать, немедленно. Не успел поручик отойти от чадского двора и полусотни шагов, как навстречу ему попался вахмистр, направлявшийся куда-то с пустым ведром, и, разумеется, не мог молодой офицер не остановиться, не мог не почесать языком.

— Слышал про Дробышева? — оживился поручик, уже сам себе не заметив, как история под его же языком принялась расти. — Помещика на дуэль вызвал, а нынче отказался — ноги, говорят, отнялись, ходить не может вовсе, паралич! Так и говорит!

— Паралич?! Да он же намерен на смотре гарцевал, я сам видел!

— То-то и оно, что гарцевал, — поручик, уже увлечённый собственным пересказом, ничуть не смутился нестыковкой, — а нынче, стало быть, разбил его удар от волнения, врачи говорят — верное дело от нервного потрясения. А Чадский говорит, что он трус, и таких убивать надобно.

— Час от часу не легче! — вахмистр покачал головой, и, подхватив ведро, поспешил дальше — разносить уже свою версию, ещё на полтона мрачнее прежней, ибо таков уж закон всякой сплетни: она, как снежный ком, не может катиться и не расти.

А ротмистр, оставшись один, поднялся с бревна, отряхнул полу халата и направился к загородке, где, всхрапывая и переступая, дожидалась его Бушенька.

— Ну что, красавица, — заговорил он с ней ласково, как иной мужчина говорит разве что с младенцем или с любимой женщиной, — соскучилась небось? А я вот тут сию, чужие подагры разбираю, а мог бы к тебе сразу выйти. Прости меня, дурачка, ради Бога.

Он потрепал её по холке, провёл ладонью по тёплой шее, и Бушенька в ответ доверчиво боднула его лбом в плечо — жест, которым лошади, за неимением слов, объясняются в привязанности не хуже иного человека, а после, не удовлетворившись одной лаской, боднула его ещё раз, будто напоминая, что ротмистр ей задолжал нежностей ещё со вчерашнего вечера.

— Аполлон Севастьянович! — донеслось с крыльца зычным, привыкшим к перекрикиванию базара голосом. — Идите чай пить, батюшка. Самовар кипит, а хозяин прохлаждается — где это видано!

Чадский, не отрываясь от любви всей своей жизни, досадливо поморщился, как человек, которого оторвали от занятия куда более приятного, чем всё, что могло ждать его в доме, и, не оборачиваясь толком, бросил через плечо:

— А ну пошла прочь, не до тебя!

Под ногой ему подвернулся мелкий серый как пепел камень, и он, не глядя, бросил его в сторону крыльца. Камень ударился о стену в трёх шагах от Агафьи Мокеевны, и чуть не выбил стекло. Она дёрнулась как от разряда тока, потом фыркнула да скрылась обратно в дверях.

Отпустив таким образом накопившуюся досаду по назначению, Чадский тотчас переменился в лице и снова обратился к лошади уже совсем другим тоном, который предназначался ей одной:

— Ты уж извини, голубушка, но идти надобно, чай мой стынет, а я, признаться, чаю люблю чуть ли не так же, как тебя, хоть и не признаюсь в этом при свидетелях.

И, ещё раз потрепав Бушеньку по холке и поцеловав её в нос, отправился наконец чаевничать с улыбкой лице, как и полагается беспечному человеку, сделавшему доброе дело и напроочь позабывшему, что минутой раньше он согрешил.

В столовой его дожидалась Агафья Мокеевна — тучная, немолодая, с руками, которые за долгую службу разучились, кажется, делать что-либо медленно. Утреннее солнце падало наискось через занавеску, дробясь пятнами по клеёнке, а сама горница пахла ещё вчерашним хлебом и свежей мятой, которую кухарка неизменно клала в заварку, невзирая на то, любит хозяин мяту или нет, во всяком случае, спросить его об этом за все годы службы ей в голову не приходило. Она разлила чай, придвинула розетку с вареньем — вишнёвым, сделанным из ягод, оставшихся от срубленного год назад в их губернии огромного вишнёвого сада, но сваренным с тем расчётом густоты, что и через год не засахарилось, и, глядя, как ротмистр без лишних церемоний зачерпывает ложкой сразу с горкой, произнесла вдруг, ни с того ни с сего, будто отвечая на какой-то давно заданный вопрос:

— Кто малым не насытится, того и большим не ублажишь.

Сказано это было без всякого укора, тем ровным голосом, каким говорят вещи, давно передуманные и оттого лишённые всякой запальчивости, и Чадский, не сразу сообразив, к чему это сказано — то ли к варенью, то ли к нему самому, то ли вовсе ни к чему конкретному, — только хмыкнул неопределённо и потянулся за вторым куском хлеба.

— Мудрено у тебя всё выходит. И к чему ты это?

— Не мудрено, а привычно, — отозвалась та, убирая самовар подальше от края стола, — иная мудрость от бабки достаётся, а иная — от долгой жизни при плите. Обе, чай, не хуже книжной.

Спорить с этим Чадский не стал не потому, что нечего было возразить, а потому, что возражать кухарке казалось ему делом настолько же безнадёжным, как спорить с валенком.

— А кстати, — вспомнил он вдруг, отставляя чашку, — сегодня Фёдор Игнатьевич обещался быть. Так ты уж того... не хлопочи особо, я сам управлюсь.

Агафья Мокеевна замерла со скатертью в руках, глядя на него, как глядят на человека, объявившего о намерении лично подковать лошадь, выпив перед этим литр водки, или самому себе вырвать зуб, имея в распоряжении нитку и всю ту же кобылу.

— Сами, батюшка?! Да куда ж вам самим, а на что я-то?

— Сказал — сам, значит сам, — отрезал Чадский. — Друг ко мне придёт, не абы кто. А готовить я, чтоб ты знала, умею получше иного повара столичного, только всё лень одолевает обыкновенно. А нынче не одолевает. Потому что... А леший его знает почему. Только не одолевает! И всё тут.

Кухарка, горько вздохнув, всё же уступила и, поворчав для порядка про то, что «мужчине на кухне не место, разве что за столом», удалилась восвояси, предоставив ротмистру полную свободу действий на его же собственной территории.

Пополудни, отправившись по каким-то своим ротмистерским делам, Чадский столкнулся на углу возле почтовой конторы с Провом Прововичем Кислым, который, судя по выражению лица, находился в том особом состоянии духа, когда хоть убей, но решительно необходимо на кого-нибудь излить накопившееся, а под руку, как назло, попадаются одни только приличные люди, при которых изливаться неловко.

— Аполлон Севастьянович, дорогой, — накинулся он с ходу, едва заведя ротмистра, — я и не думал вас увидеть! Что делается! Дробышева-то, рассказывают, паралич разбил, лежит бревном, ни рукой, ни ногой! А вы, говорят, его убить хотите!

При слове «убить» Чадский чуть заметно повёл плечом, а глаза поспешили выбраться из орбит.

— Пров Провович, дорогой мой, у Дробышева всего и было делов, что от дуэли отказался, придумав себе подагру. Я это доподлинно знаю, от первого лица, можно сказать, слышал. А остальное — ерунда!

— Да ну! — Кислый даже остановился посреди тротуара, отчего шедшая следом торговка с корзиной едва не налетела на него сзади и разразилась в его адрес непечатным, Впрочем, негромким, замечанием. — А мне уж три человека рассказывали про паралич, один даже клялся, что доктора вашего, Терпигорева, к нему на дом вызывали! Кто-то сказал, что вы и вовсе уже беднягу застрелили, мол, он паразит на теле человечества, слабое звено.

— Ну если говорят, значит застрелил, — покачал головой Чадский, нежелания углубляться далее в чужие домыслы.

— Совсем? — провизжал своим пилой-голоском Кислый.

— Что совсем?

— Ну, совсем застрелили?!

— Да.

Кислый стих и, словно протухший лимон, готовился уже пасть ниц на мостовую и валяться там, пока не выбросят, — он был разбит. Но Аполлон Севастьянович сжалился.

— Пров Провович, повторять всякую небылицу — это каждый горазд. Все детали — бред. Я никого не убивал, не тратьте время попусту. Вы лучше пирог с брусничкой попробуйте у Пашки в лавке. Первый сорт!

— Да я разве от радости повторяю! — Кислый всплеснул руками с прежним своим негодованием, которое, Впрочем, тут же и погасло, сменившись более привычной ему тревогой за общее положение дел. — Просто раз уж такое творится, что здорового человека в паралитики за один день записать могут, так чего ж удивляться, что и с грабителями этими никто разобратся не может! Ну ничего! Англичане разберутся!

— А вы и про этих двух сыщиков уже слышали байку?

Кислый скривил лицо.

— Сами вы байка! Прибыли к нам в город, я их видел! Своими глазами!

Он их не видел.

— Пров Провович, вы уверены?

— А вы уверены, что я стою перед вами?! — он вытянулся во весь рост и ладонью обвёл себя. — Да! Да простит Господь мою душу, да! Пусть меня молния ударит, если это не так! — тут он остановился, и сразу по двум причинам. Во-первых, осознал, что перегнул с театральностью. Во-вторых, испугался, не ударит ли его молния за ложь. Но, глянув на небо и успокоившись, он тут же продолжил: — Они из Лондона к нам приехали ради сего дела, а заодно, может быть, выяснят отчего у Демьяна квас кислый! Так-то!

Тут уж не сдержался и сам Чадский, коротко хохотнув, — редкий случай, когда чужое ворчание вызывало у него не снисходительную усмешку, а самый настоящий смех.

— Вы, Пров Провович, свой квас в это дело не путайте, тут своя, отдельная трагедия. Там не попомогает никто. Тут дело в призме, — он тыкнул на своё пенсне. — Квасок-то отменный!

Кислый лопнул, и, взорвавшись жёлтыми ошметками, разлетелся по улице.

— Сами вы отменный! Точнее... Ну вы поняли! В общем! До встречи! Чао!

Развернувшись, он и двух шагов не прошёл, как споткнулся и, выругавшись коротко и придя в себя, схватил булыжник и накричал на него:

— Одна оказия на другую садится, как блохи на собаку! Тьфу на тебя!

Тётка с корзинкой на той стороне улицы уж думала, кинет булыжник, зараза ирод поганый, ан нет. Покричал на виновника, да на место положил. Вот что значит не вспыльчивый, контролирующий себя человек.

Он отправился искать себе новую жертву для изложения накопившихся тревог, а Чадский свернул на другую улицу, всё ещё посмеиваясь про себя. День покатился дальше своим обычным, ничем не примечательным чередом, если не считать того, что к вечеру слух о Дробышеве успел обрасти уже четвёртой версией, в которой фигурировала, по мнению одной особенно впечатлительной старушки, самая настоящая цыганка, наложившая проклятие на род Дробышевых ещё в прошлом году.

К вечеру, когда солнце уже клонилось за крыши и в горнице запахло дымком от растопленной плиты, Чадский, повязав фартук поверх мундира — деталь, за которую любой из его сослуживцев не преминул бы поднять его на смех, доведись им это увидеть, — принялся за дело. Он крошил овощи неровными, но щедрыми кусками, пробовал бульон с ложки чаще, чем того требовала необходимость, и на одном таком пробовании досадливо крякнул: пересолил.

— Экая незадача, — пробормотал он себе под нос, оглядываясь, будто опасаясь, что кто-то мог стать свидетелем этого позора, и, не растерявшись, кинул в котёл сырую картофелину целиком. Он слышал где-то, что картошечка умело вытягивает лишнюю соль, — а после, довольный найденным решением едва ли не больше, чем если бы вовсе не оплошал, снова замурлыкал под нос — уже не ту, вчерашнюю песенку, а какую-то новую, тут же, видно, и сочинённую:

Картошка соль возьмёт себе,

Не будет стыдно мне нигде,

А кто пересолил в сердцах,

Тот не лопух и не дурак!

Пел он это фальшиво и невпопад по размеру, зато с таким удовольствием, что и профессиональная певица могла бы ему позавидовать в искренности, если не в точности попадания в ноту.

Тем временем, покуда ротмистр колдовал над кастрюлей, на другом конце города, у лавки некоего мещанина, собралась кучка зевак из тех, что готовы обсуждать любое происшествие с горячностью, обратно пропорциональной степени своей осведомлённости.

— Слыхал, что Сычов давеча учинил?

— Мало ли что Сычов учиняет, — отозвался сиплый мужичок, не оборачиваясь, — что ни день, то новость, одна другой чернее.

— Да нет, ты погоди, ты этого не слыхал, может! Пелагею Хомутову знаешь? Вдову, что на Кузнечной жила?

— Ну, знаю. И что с ней?

— А то, что дом её последний, да коровёнку в придачу, за долг забрал. Старуха на коленях у порога валялась, прощения умоляя.

— А он?

— А люди его ударили её ногой по голове, так та и сознание потеряла. Соседи говорят, стояла потом среди улицы, гола-голёшенька, в чём мать родила, и голосила, что через три дома слышно было.

— И куда ж она теперь?

— В могилу. Умерла Пелагеюшка. Царствие ей небесное!

Собеседник помолчал, покачал головой и зажмурился. Если читатель уже приготовился по привычке усомниться, — дескать, мало ли что люди на улице друг другу перескажут, — спешу заверить: это как раз тот редкий случай, когда всё сказанное — чистая правда, без всякого прибавления. Вообще же с Сычовым вышла презанятная штука: что ни выдумай про него самого страшного, самого чёрного — а действительность возьмёт да и превзойдёт всякую выдумку, так что самая жуткая байка рядом с тем, что он творил взаправду, смотрится мелкой медной монеткой подле полновесного рубля.

И тут разговор вернулся опять к теме ограбления, облачившись между тем в новые, ну просто-таки неприличные подробности.

— А слышали, — начал один, — будто из самого Петербурга сюда трёх агентов прислали из охраны!

— У нас своих специалистов мало, что ли? — заверещал рыжий парнишка.

— Так-то столичные люди, — важно пояснил первый, вздёрнув указательный палец, — значит дело, вишь, хитрое, тонкое, требует особого ума, не нашего с тобой уездного разумения.

— Бред какой-то, — вмешался третий, — нечего им ерундой в нашей дыре заниматься.

— Мы — дыра?! Это у тебя в башке дыра! — вспыхнул четвёртый, доселе не участвовавший в разговоре, но тотчас нашедший в нём повод для собственной обиды. — Да у нас, если хочешь знать, три церкви, гимназия, площадь мощёная да мост новый, куда ж тебе ещё, свинорылый ты гусь?

— Это я свинорылый?! Сюда пошёл. Кирпич об морду сломаю тебе, она у тебя будет хуже, чем у свиньи, помёт ты осиный, плешь вонючая!

— Давай, иди сюда! А-а-а!

Мальчонка лет десяти, вертевшийся тут же подле взрослых в надежде чему умному у них поучиться или хотя бы выклянчить у кого пятак, уловил из всего разговора одно только слово «агенты охраны» и, не будучи твёрд в познаниях об устройстве полиции, поспешил домой с известием, что в город едут не то английские шпионы, не то, того хуже, турецкие охранники, и что мать его давеча зря ругала за разбитое окно, потому как теперь, того гляди, будет не до окон вовсе. Убьют всех и баста! Мать, впрочем, быстро вернула сына с небес на землю подзатыльником и напоминанием про недоеденную кашу, так что судьба города в его изложении дальше материнской кухни не распространилась. Очередной очаг спорыньи слухов был потушен маленькой бледной женской ладошкой.

Спор о том, дыра ли город или не дыра, превратившийся в дискурс о свинных и прочих рылах, давно перешёл в потасовку, та в свою очередь перетекла в массовую драку, драка в Ледовое не по сути, но по масштабу побоище, а побоище своим чередом ушло в братание и попойку. Правды не было найдено, и мы, за неимением иных сведений о расследовании ограбления, тоже оставим этот предмет в покое, тем более что к ужину у Чадского он не имел равным счётом никакого касательства.

Сочинилась вдруг новая песня и полилась из пухловатых спрятанных под усами уст рот-мистра прямо в кастрюлю:

Мы братушки, bravo ребятушки,
В суп добавим поскорее петрушки,
И говяжий наваристый бульон,
Поскорей гостям своим нальём!

Аполлон Севастьянович мнил себя Цезарем и Леонардо да Винчи в одном флаконе. Цезарем, потому что мог делать несколько дел одновременно: в данном случае творить руками и сочинять песни. А да Винчи потому, что был талантлив сразу в нескольких ипостасях. И лжи в этом заявлении было явно меньше, чем в слухах, бродивших по городу в поиске очередных доверчивых ушей.

Комната, куда Чадский, отужинав уже собственным трудом и добытой от самого себя похвалой, привёл наконец Конева, оказалась в этот час залита озорливым рыжим, обыкновенно приятным всякому, кто его замечает, светом. Чадский, однако, едва войдя в столовую, отчего-то нахмурился, подошёл к окну и, ни слова не говоря, задёрнул шторы — плотные, тёмного бархата, доставшиеся ему, по его же словам, ещё от покойной матушки. Конев, только что рассеявшийся было за столом, при этом чуть приуныл, но не то чтобы всерьёз, однако смолчал, рассудив, видно, что не его это дело, отчего хозяин боится солнца.

— Ну-с, Федя, прошу к столу, — Чадский, уже без фартука, но всё ещё в фартучном настроении хозяйюшки, разлил по тарелкам наваристый супец с такой торжественностью, будто дело шло не о борще, а о награждении орденом. — Отведай-ка, что твой друг умеет, когда не ленится.

Конев, отведав, зажмурился от удовольствия столь искреннего, что не оставалось сомнений в его подлинности.

— Аполлон Севастьянович, да это ж... это ж прямо ресторация!

— Для дорогих гостей ничего не жалко! — усмехнулся Чадский, довольный произведённым эффектом больше, чем то подобало скромности. — То-то и оно. Жизнь, брат Федя, штука такая же, как этот суп: пока не сварить как следует, не узнаешь, чего она вправду стоит, а сварить — глядь, и съели уже, и хвалить некому. Потому кушай тихонько, растягивай удовольствие. Вон смотри кусок говядинки какой. Заглядение!

— Мудрено рассказываете, — покачал головой Конев, с той улыбкой на лице, что выдавала в нём скорее восхищение, чем иронию, — вы, Аполлон Севастьянович, что ни скажете — всё будто из книжки.

— Из какой книжки, из жизни! Кстати, чуть не забыл, — полез он вдруг в карман сюртука, — гостинец тебе принёс, братец!

Он выложил на стол шоколадный батончик в бумажной обёртке, какие недавно завёл в продаже кондитер на главной площади, обещавший покупателям вкус, невиданный доселе в их губернии, с надписью «МАРТС».

— Держи, Федя, побалуй себя, после щей самое оно.

— Ну вот тебе и раз, приход-расход, — заметил Конев, вертя в руках неожиданный подарок, — я к вам в гости иду, а вы меня же ещё и одариваете, где это видано.

— А у нас так заведено, — отозвался Чадский без тени назидательности, — кто приход-расход всю жизнь сводит, тому иногда и подарок положен, для равновесия, чтоб он в бумажках не засох.

Конев засмеялся — пожалуй, чуть охотнее, чем того требовала шутка сама по себе, но так уж повелось меж ними, что смех этот был не столько данью остроумию приятеля, сколько давнишней привычкой соглашаться с ним во всём, потакать и смеяться прежде, чем успеешь толком обдумать сказанное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.